

Звезда

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ

Издается
с января
1924
года

1993 (11)
Санкт-Петербург

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Самуил Лурье

БЕДНЫЕ ЛЮДИ!

— А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок,— шептала она, продолжая как-то усиленнее почищивать меня за рукава,— что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?

— Нет, Нели, она уедет далеко; выйдет замуж на помешника, а он один останется,— отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

«Униженные и оскорбленные»

— «Бедные люди»? Слезоточивый задор этой старомодной, невинной весницы бесхитростен, как ее название. Бедная Лиза, укутанная в гоголевскую шинель. Дескать, и чиновники любить умеют. И под крышами Петербурга живут мучительные сны. И на черных лестницах от судеб нет защиты. И до чего же скверно платят в России за труд, и как безутешно плачет неудачник... Жалобный дуэт флейты и тромбона в замыганным дворе в двух кварталах от Фонтанки. Торопливые переговоры надломленной швейной иглы с пером канцелярским, гусиным, истертым.

Она ему.

— Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работы. Нужно спешить. А в ответ:

— Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазяев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись — слава Богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться; требуют поскорее...

Человеколюбивое, одним словом, сочинение. Маленько скучноватое в своей честной бедности. Два голоса жужжат из такой уж густой паутины, что прогательнейший в мире слог не спасет; без надежды, без тайны — что за роман?

Одна дама в 1846 году, весной, так и сказала профессору Никитенко — в ее гостиной он увидел на столике «Петербургский сборник», разрезанный как раз на середине «Бедных людей»:

— Плачу, а дочитать не могу!

«Содержание «Бедных людей» так просто, так просто,— разводил руками Аполлон Григорьев, начинающий рецензент, но будущая знаменитость,— что только с слишком большими силами можно было отважиться на трудный подвиг развить из этого бедного содержания целую внутреннюю драму...»

Простое содержание, бедное. Простая повесть о бедных людях. Бедный сюжет о простых существах и чувствах. Таков был общий глас. И самый сильный критик только и сумел, что обратить вздох упрека в восклицание восхищения:

«Посмотрите, как проста завязка в «Бедных людях»: ведь и рассказать нечего!»

Это даже и слишком. Кто-нибудь, у кого достало бы досуга и терпения перечитать роман, рискнул бы, пожалуй, на возражение. Можно ли назвать *простой* завязкой странный, отчаянный, фантастический поступок? Убогий копиист, из тех, что исхитряются в Петербурге существовать на 400 рублей в год жалованья, из тех самых, кому новая шинель (неправду, что ли, написал Гоголь?) заменила бы личное счастье и смысл жизни, некто из тьмы Башмачкиных, облезлая канцелярская крыса, — похищает и берет на содержание — точно офицер какой-нибудь гвардейский, точно ротмистр Минский из повести Пушкина «Станционный смотритель» — барышню семнадцати лет; лжет ей о каких-то своих капиталах в ломбарде; осыпает подарками, проматывая на конфеты и цветы выпрошенное вперед жалованье чуть ли не будущего года; в театр водит! — на наших то есть глазах улетает в пропасть, не отпуская Варенькиной руки, да еще изо всех сил улыбалась, — и эта завязка, по-вашему, чересчур проста?

С какой тревогой девочка пытается угадать: что происходит? Этот смешной человечек, будто бы родственник — хоть и седьмая вода на киселе, но в сущности третий встречный, — какое будущее он для нее придумал? Не отпустил в гувернантки — отговорил наотрез от единственного, чудом блеснувшего шанса (неверного, правда) прожить без него. Стало быть, уверен, что не даст ей погибнуть — ведь не играет же он ею, ведь это было бы злодейство, а он такой добрый...

Из этого-то сюжета выводите вы, г-н Первый Критик, пресноватую, действительно немудрящую — хоть и гуманную — мораль:

«Честь и слава молодому поэту, муга которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателях раззолоченных падат: „Весь это тоже люди, ваши братья!“»?

Значит, так тому и быть. Вам вицнее. С остальных и спрашивать нечего.

Первый роман Достоевского прочитан Россией в слезах и вспыхах, как история слишком душепрелестная, чтобы можно было в ней заподозрить непрозрачную глубину. Все так просто, так бедно. Новые похождения Башмачкина. Вторая заварка, так сказать, — а рецепт полезный.

Но перечитывать, когда слезы просохли, — с какой же стати?

«В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате!»

Для всех — попачку даже для Вареньки, не говоря уже о начальнике департамента — Макар Девушкин — второй Башмачкин. И должность, и наружность, и манеры — все точь-в-точку. Он и сам, прочитав «Шинель», вынужден признать, что сходство полное.

И впервые в жизни запивает горькую.

Тут, правда, и обстоятельства подопили скверные, но что повесть Гоголя оскорбила Девушкина и отгорчила донельзя — никакого сомнения. Конечно, можно и так объяснить, что истина показалась ему невкусна (как в кабинете Его Превосходительства: «Я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел»). Однако чем же Самсон Вырин, скажем, презентабельней, станционный-то смотритель (огражденный своим чином только от побоев, и то не всегда, замечает Пушкин), — а в нем Девушкин признает родного брата:

«...а это читашь, — словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно — вот как!»

Не от зеркала самолюбию больно; а от взгляда чужого свысока. Вся жизнь Макара Алексеевича проходит под этим взглядом — так смотрят на него все и каждый, то есть он и ждет от всех и от каждого, что на него *так* посмотрят, — хотя ни за кем не признает ни малейшего права на этот мимолетный луч пренебрежения. Гордость и мнительность, да. Но мнительность небезосновательная: человеку смеются в глаза: «Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортить, а щетка, говорит, барин, казенная», — как же ему не опасаться ухмылки невидимой, насмешки злойной, даже от незнакомых — от господина Быкова, например? Вот Варенька пишет:

«Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у пас, мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой же это чиновник, который с вами знаком?» На ту, пору вы через двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся...» (Читай, наверное, повесть Гоголя «Шинель» господин Быков.)

Из-за таких-то усмешек и чувствует Макар Девушкин, что он вроде как букашка под огромной лупой и за каждым его пополновением внимательно наблюдает чей-то холодный, немигающий, злорадный зрачок, — и повесть «Шинель» вдруг подтвердила нестерпимую догадку!

«Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, — каков уж он там ни есть, — жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались, да не подсмотрели, — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что синь, что пурпур, что переписываешь?..»

Как человек простодушный, Девушкин даже и не сомневается, что Башмачкин списан прямо с него. Как человек самолюбивый, взбешен, что столь тщательно им охраняемые унизительные тайны личного бюджета и гардероба расказаны во всеуслышание — допустим, что с сочувствием, — какая разница для человека, ни за что на свете не согласного быть смешным! — ему ли не знать, как эти подробности забавны, особенно вчуже.

Но и это еще далеко не вся обида. Главное — что гордость уязвлена. Чем обстоятельней внешнее сходство, тем очевидней для Макара Алексеевича, что его обогащали, опошлили, подменили двойником! Посторонние этого не увидят — где там! — если даже Варенька

сбита с толку... Посторонние скажут о Макаре Алексеевиче словами критика, профессора и цензора Никитенко: «Этот маленький чиновник, этот бедняк, которому общество не может уделить более благ, как сколько следует существу переписывающему» (высокомерно-низкие слова! Профессор и цензор, несомненно, полагал, что сам-то стоит куда дороже). Это о нем — о Девушке! Как будто это он — двойник Башмачкина! Посторонним-то все равно. Чего доброго, так и подумают.

Тоже переписывающее существо, *тоже* человек... Девушка не умеет выразить, чем привело его в гнев и отчаяние такое явственное, но такое мнимое тождество. И неизвестно, поняла ли хоть впоследствии Варенька Доброселова, насколько был он прав — если прав.

Кому и понять, как не ей: не повстречай ее Макар Алексеевич (в Спасской церкви, я думаю, что на Водковом кладбище — где же еще?) — никогда и ни за что не узнал бы, что он — не Башмачкин. Так Башмачкиным и помер бы.

Они ведь и точно похожи, как близнецы. Только Акакий Акакиевич — счастливый человек, а Макар Алексеевич — несчастный.

Ну, и еще имеется несколько различий, столь же незначительных. Например: Башмачкин никого не любит, а Девушка...

До революции (Великой Октябрьской социалистической) принято было считать, что «Бедные люди» — история отнюдь не о любви. Из рецепентов по крайней мере половина изловчилась вообще обойтись без этого слова, другая — окружила его самыми осторожными определениями.

«Два лица в высокой степени интересные, — говорит высокодаровитый Аполлон Григорьев о герое и героине романа, — просветленные... пожалуй, одно своим человеческим чувством любви и сострадания, другое своим страданием, своей христианской покорностью...»

Бесталанный Никитенко прибегает к точно таким же оборотам, только в другом порядке — и страшно запутывается, — но все-таки тоже доводит до сведения читателей, что ни Макар Алексеевич, ни тем паче Варенька ни о каких непозволительных отношениях и не помышляют. «В характере чиновника выражена та истинно христианская любовь простой души, которая несет крест свой, как долг; для него жить и страдать значит одно и то же; он и не подозревает, что в глубине его души таятся те же силы, которые могли бы его повести по пути борьбы, могли бы, может быть, увенчать его венцом победы, но вместе с сознанием этих сил, могли бы показать ему и щету его любви, потому что не любят уже того, чего принуждены опасаться и что бесплодно стоило нам самой теплой и свежей крови сердца».

(Видимо, последнюю фиоритуру надо понимать так, что г-н Быков не мог не внушить обес充实енной им девочке отвращения к мужчинам. Допустим. Но как из этого следует, что чувство Макара Алексеевича тщетно — истинно христианская-то любовь? Просто Бог знает что!)

Только два критика — Первый и Второй, Белинский и Валериан Майков, — решились признать, что герой в героиню все-таки влюблен, впрочем, не совсем по-настоящему и, разумеется, совершенно безответственно.

«Автор не говорит нам, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать сострадание, или сострадание родило в нем любовь к этой девушке; только мы видим, что его чувство к ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокого старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтоб не возненавидеть жизни и не замереть от ее холода, и которому всего естественнее полюбить существо, обязанное ему, одолженное им, — существо, к которому он привык и которое привыкло к нему. Нет, в чувстве Макара Алексеевича к его «маточки, ангельчику и херувимчику Вареньке» есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое он силится не признавать в себе, но которое у него против воли прорывается наружу и которое он не стал бы скрывать, если бы заметил, что она смотрит на него не как на воне неуместное. Но бедняк видит, что этого нет, и с героическим самоотвержением остается при роли родственника-покровителя».

Остается-то он остается, Виссарион Григорьевич, — да ведь роль фальшивая. Вас умиляют «эти отношения, это чувство, эта старческая страсть, в которой так чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка», — но ведь очень скоро Вареньке предстоит выбирать: на панель или в канал — потому что не прожить рукоделием в Петербурге, и в услужение не возьмут — понятно почему, — а какая погоня за несчастной девушкой, какая свора бежит по следу, — и вся-то была надежда на всегданного и верного друга Макара Девушкина, на вечного, неизменного друга, на истинного друга, на сердечного доброжелателя — так он подписывается, — и разве он не подал ей надежду?

Попреки в сторону: обман открылся и процен — как безрассудство без памяти влюбленного прощен, а также потому, что без этого обмана решать: на панель или в канал — пришлось бы еще в апреле. Но и теперь, в половине сентября, — неужто нет иного выбора? Неужто ничем, совершенно ничем не в силах помочь достойный друг, душевно

преданный? И ни вина не терзает его, ни предчувствие? Доволен собой, как Первый Критик им доволен... уж не сделался ли снова Башмачкиным?

«Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простили мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, лебопы и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве... Ваши записочки все перепеловал сегодня, голубчик мой! Говорят, есть где-то здесь недалеко плащать продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик, прощайтесь!»

Варенька в ответ извещает о появлении г-на Быкова и передает разговор с ним Федоры:

«...что когда греха нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я сумела прожить работу, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру...»

Макар Алексеевич — как и всякий раз, когда ему послышится тягостный вопрос, под конец этого письма действительно произнесенный: «Что со мною будет? Что еще мне готовит судьба?» — выдерживает паузу, а затем, ни слова не отвечая, впадает в повествовательный тон; очень недурным, выработанным уже слогом описывает скоропостижную смерть соседа по квартире, пожилого женатого чиновника Горшкова, заключая свой рассказ хоть и тривиальной, а все же несколько неожиданной сентенцией:

«Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь... Погибаешь этак ни за что...»

А еще через пять дней, читая в Варенькином письме, что она согласилась выйти замуж за Быкова, что все решено навсегда, — возможно ли, чтобы он и в эту минуту и в этом письме не рассыпал ни упрека, ни безнадежной мольбы?

«Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастия в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы?»

«Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что делать? Из чего выбирать мне?»

И под конец:

«Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить.»

Возможно ли, чтобы влюбленный человек, получив такое письмо, не знал, что ему делать? Достоевский сам, как видно, еле сдерживает негодование — и обходится с Девушким сурово: заставляет высказаться до дна. И сквозь жалкий, слапцовый, растерянный лепет пропускает совершенно отчетливо одна-единственная мысль:

«Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь?»

Проговорился — спохватился — бормочет поспешно:

«Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце моем все это взвешиваю, причины-то эти...»

Но автор не дает увиличнуть, и нельзя не повториться:

«Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь?»

Что ж. Он ничего не присочинял, уверяя, будто сю только и живет. Он, Девушка Макар Алексеевич, и сейчас на любую жертву ради нее готов. Сколько раз уклонялся — или даже отчитывал, — когда Варенька звала его к себе, а сегодня сам, не ожидая просьбы:

«Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь жлете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...»

Так, бессмысленными завитушками, скрепляет Макар Алексеевич притвор свой Вареньке и себе.

Надо отдать справедливость Белинскому: он единственный позволил себе вслух задуматься — отчего бы Девушкину не взять Вареньку замуж? Ответ, оказывается, такой:

«...По тесноте и узости его понятий он мог бы навязать себе Вареньке в мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убеждению, что никто, как он, не может так любить ее и всего себя принести ей на жертву; но от нее он не потребовал жертвы: он любил ее не для себя, а дляней самой, и жертвовать для нее всем — было для него счастием».

Натяжка очевидна. Так можно рассуждать, лишь зная наверное, что г-н Быков явится в налижающее время. Но Макару-то Алексеевичу откуда это известно? Он ведь этого романа не читал...

Кстати: мы согласились, что завязка проста, — но отчего же развязка так печальна?

Все ведь оканчивается на удивление благополучно, во всяком случае, благопристойно. Варенька выходит за того самого, кто погубил ее честь, а от чахотки разве не лучше умереть помешницей, чем проституткой? Девушкин переседет в комнатку посветлей — разве не довольно ему связки писем да томика повестей Белкина, чтобы не спиться с кругу? Что же оба так стенают и отчиваются, надрывая читателю сердце? Можно подумать, что и он, и она всерьез предложили бы погибнуть вдвоем — под забором, например, замерзнуть, обнявшись. Ведь это же не так, правда?

Мы видим: вздумай Девушкин сделать Вареньке предложение — даже Белинский не одобрил бы. Все сочли бы такую затею нелепой, безвкусной и неприличной — словом, смешной.

И вовсе не только потому, что в сороковых годах прошлого столетия всякий, кто отважился бы жениться на Вареньке (за исключением г-на Быкова, разумеется), подлежал несколько презрительному сожалению. К Макару Девушкину это как бы не относилось — ему-то что до предрассудков? Переписывающему существу к лицу ли разыгрывать невольника чести; Белинский в благосклонности своей даже и мысли такой не допускает, чтобы амбиция, о коей двойник Башмачкина твердит из письма в письмо, — ему и вправду была дороже всего.

Против союза Вареньки с Макаром Алексеевичем имелись возражения куда более тонкие. Прежде всего — эстетическое чувство страдало: чижик — и крыса! Да к тому же крыса-то, что ни толкуйте, влюблен!

«Само собой разумеется, — полагает Валериан Майков, — что любовь Макара Алексеевича не могла не возбуждать в Варваре Алексеевне отвращение, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя».

И прибавляет, как искушенный сердцевед (ему, кажется, года двадцать три, но ведь настоящие критики не живут долго):

«А если ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое неприменимое расположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который (сохрани Боже!) еще нас любит!»

Вы недоумеваете? Да просто-напросто он стар, этот Макар Алексеевич. Непоправимо, позорно стар, а туда же — про поцелуй какой-то вспоминает. Хорошо хоть самому сознать: «на старости лет с ключком волос в амуры да в эквики».

Сам же говорит:

«...Было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет служебному моему поприщу...»

Это значит, что юбилей предыдущий — двадцатипятилетний — промелькнул не вчера, и Девушкину давно уже не сорок лба — правила, и не более сорока шести. Допустим, что и поменее: «вот уже скоро» — это все-таки не завтра; в ближайшем будущем улучшения своих обстоятельств Макар Алексеевич явно не ожидает, а ведь награждение чином за выслугу лет или хотя бы прибавка к жалованью в тридцатипятилетие карьеры — не такая уж несбыточная мечта; видно, рано загадывать. Но как ни считай, все выходит, что Девушкину лет этак сорок пять или около того. Комический старик в роли героя-любовника! Родился в конце прошлого века, А. С. Пушкину, между прочим, ровесник — и вот, извольте видеть, влюблен...

Прав Белинский, прав Майков: что-то есть отталкивающее в старческой страсти. Бедная Варенька! (Но г-н Быков разве моложе Девушкина? — Это не обсуждается. И потому: Быков не требует ведь любви — поэтому скорее страшен, чем противен.)

Середина сороковых. Тютчев еще не знаком с Денисевой — она еще пансионерка — и не написал стихов о блаженстве и безнадежности. Но и еще через двадцать лет — как робко и долго, какими наивными обиняками станет допытываться автор «Бедных людей» у двадцатипятилетней стенографистки, что сказала бы девушка в ее возрасте, если бы пожилой — вроде него — человек просил ее руки?..

Советские люди, читая «Бедных людей», о возрасте Девушкина думали меньше всего. Сомневаться в том, что героям связывает взаимная любовь, а разлучает бедность, не рекомендовалось. Как вышло, что при такой любви расстаться навсегда оказалось легче, чем бедствовать вдвоем, — никого особенно не занимало.

1 Время «Бедных людей» навсегда останавливается 30 сентября 1844 года; это число выставлено на письме Достоевского, в котором сказано: «Я кончу роман. Я уж его переписываю». 30 сентября Вареньку Доброседову венчают с г-ном Быковым. Я думаю, прощальные письма Вареньки и Макара Алексеевича — или хоть одно ее письмо — сочинены именно в этот день, вернее всего — под утро, на рассвете: Достоевский уже тогда работал по ночам.

Полагалось помнить, что Белинский будто бы сказал однажды Аиненкову о «Бедных людях»: это первая попытка у нас социального романа; что Достоевский будто бы сказал однажды кому-то — какому-то иностранцу: все мы вышли из «Шинели» Гоголя; что за чтение письма Белинского к Гоголю в кружке социалистов автор «Бедных людей» был приговорен к смертной казни... А сюжет «Бедных людей» разбирали в учебниках и пособиях вкратце и слегка:

«Конец романа печален: Вареньку увозят на верную погибель грубый и жестокий помещик Быков, а Макар Алексеевич остается в безутешном горе...»

Великая вещь — слов! Было бы написано: Варенька стала госпожою Быковой и уехала с мужем в его имение, — разве министерство просвещения утвердило бы такой учебник? А ведь все правда: Быков груб, и отбыл из Петербурга вместе с Варенькой, и вообще в царской России помещики вытворяли с бедными людьми что хотели.

Так учили детей. Взрослым развязку романа — и сплелиение событий, ведущих к развязке, и спор бедных душ, сю оборванный, — пересказывали витиеватей:

«Лейтмотив повести — духовная связь благородных и скромных людей в жестоких условиях современного строя (Слушайте, слушайте! — С. Л.). Взаимное влечение Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой подвергается испытаниям безжалостного миропорядка (вишь, куда метнулся! — С. Л.); мечтательницу-девушку, уже запроданную богатому сладко-растительному, отдают теперь навсегда в его полную собственность...»¹

Попросту говоря, в эпоху так называемого Застоя, вплоть до начала так называемой Перестройки, официальная — то есть единственная — версия объясняла развязку романа финансовым положением Девушкина. В царской России бедные чиновники не могли себе позволить — не имели ни малейшей возможности — жениться на бесприданницах, слишком трудно при самодержавии женатому человеку, если он не помещик и не генерал, — вот какой безжалостный господствовал миропорядок.

Аксиома сама по себе внушительная. Никто, кажется, не пробовал подкрепить ее математическими расчетами, а зря. Вот, например, Белинский осенью 1843 года втолковывает своей невесте:

...Нам с Вами на стол, чай, сахар, квартиру, дрова, двоих людей, прачку и пр. никак нельзя издерживать менее 250 р. в месяц или 3000 в год: так нельзя же, чтобы столько же не оставалось у нас на платье и разных непредвиденных издержек.

Как мы знаем, эта цифра — 6000 в год — оказалась заниженной: положившись на нее и вступив в законный брак, великий критик утопал в бедности.

А у Девушкина жалованье — не то 40 рублей в месяц, не то 50. Где уж ему жениться. Какое там! С его стороны это, можно сказать, благородный и благородный поступок — отдать Вареньку господину Быкову.

В 1854 году в Семипалатинске Достоевский — рядовой Сибирского линейного батальона — влюбился в жену одного чиновника. Затем чиновник этот, по фамилии Исаев, уехал с семейством в Кузнецк — там умер. Вдова «осталась на чужой стороне, одна, измученная и истерзанная долгим горем, с семилетним ребенком и без куска хлеба». Она была молода и красива, к ней сватались.

«Бедненькая! Она измучается. Ей ли с ее сердцем, с ее умом прожить всю жизнь в Кузнецке Бог знает с кем. Она в положении моей героини в «Бедных людях», которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)».

Эта история до странности похожа на роман Достоевского.

«Пишет, что любит меня больше всего на свете, что возможность выйти замуж за другого еще одно предположение, но спрашивает: «что ей делать?» (...) Что если ее собыют с толку, что если она погубит себя, она, с чувством, с сердцем, выйдя за какого-нибудь мужика, одуха, чиновника, для куска хлеба себе и сыну (...) Но каково же продать себя, имея другую любовь в сердце. Каково же и мне?»

Автор, очнувшись на месте персонажа, не пожелал разделить его участь. Правда, если бы не произвели его в прaporщики, ничего бы не вышло.

«Но теперь, тотчас же после производства, я спросил ее: хочет ли она быть моей женой, и честно, откровенно объяснил ей все мои обстоятельства. Она согласилась и отвечала мне: «Да». И потому наш брак совершился *непременно*.

«Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просиг уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду. Ты скажешь: «Чем я буду жить?» (...) Но знай, мой бесценный друг, что мне надо немногого, очень немногого, чтобы жить вдвоем с женой. (...) Она знает, что я немногого могу предложить ей, но знает тоже, что мы *очень* нуждаться никогда не будем; знает, что я *честный* человек и составлю ее счастье. Мне нужно только 600 руб. в год».

¹ Как хорош и как важен тут этот оборот с неопределенно-личным сказуемым: *отдают*, видите ли! Идеология только так и поддерживает свое существование: обволакивая присвоенные ею ценности испроницаемой скучкой.

Расчет, как мы знаем, безусловно ошибочный. Но зато вот какое соображение предстает неотразимым — и невзначай разбивает вдребезги практическую, мещанскую, советскую трактовку сюжета «Бедных людей»:

«Ты скажешь, что, может быть, заботы мелкие изнурят меня. Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить, как в хлопочках, лениво и без забот, — отказаться от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказаться от надежды составить ее счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности...»

Бывала, выходит, и в николаевской России любовь сильнее бедности — не так ли?

...Занятно было бы также узнать, каким образом согласуется с вышеизначенной аксиомой — насчет чиновников и бесприданниц — история женитьбы Мармеладова на Катерине Ивановне. Двадцать три рубля с копейками в месяц положили ему в петербургском департаменте, и навряд ли в провинции, где встретил он ее — вдову с тремя детьми, — платили много больше. Но она была еще несравненно белее — ниша безнадежно. «И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже иловец, и от первой жены четырнадцатилетнюю dochь имея, руку мою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание».

Не счастья искал и осчастливить не надеялся. И вряд ли не сознавал, что не только никого не спасет, а скорее всех погубит, что при его достоинствах дай бог собственную лошь не отпустить в темноту, а участь чужой ловцы как бы даже и честней предоставить провидению (какому-нибудь г-ну Быкову), — а не смог, не выдержал: сострадание — такая мучительная, такая неотступная страсть.

А наш Макар Алексеевич отступил.

Неужто из малодушия? Но ведь несомненно, что умер бы он за Вареньку с восторгом, в любую минуту, и что умрет от тоски по ней все равно, и что сам очень хорошо это знает.

И потом, будь он малодушный, да просто рассудительный человек — романа бы не было. Авантура, с которой все началось, обличает в Девушкине характер отчаянный до легкомыслия.

Заметьте, ведь это безумство с Варенькой — не первое в его жизни. С таким же пылом «врезался» много лет назад юный Макар в модную актрису, хотя видел ее только на сцене, и всего-то разок, и то даже не видел, а слышал с галерки.

«Так как вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернула я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал — уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Половина месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон конны давал: замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучил!»

Анекдот смешной, и рассказан кстати — по дороге из театра, — и Варенька еще не знает о забранном вперед жалованье, — а, должно быть, припомнилось ей самое первое после переезда на новую квартиру письмо Макара Алексеевича — донельзя игривое, наивно-развязное, с невозможными стихами; шалунья величал и пальчики целовать трясился.

Видно, не померещилось тогда ни ей, ни нам — ни ему самому, — что он просто-напросто закутил, завел интрижку, обзавелся тайным адресатом, личным ангельчиком (как сосед-мичман — очередным чижиком, не заботясь о том, что в здешнем воздухе чижики так и мрут) — и в восторге от своей изобретательности, а до чужой тоски ему и дела нет:

«Премило, но правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымите — значит, с добрым угром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали...»

Как же разобиделся он на нее — как разозлился на себя, — поняв, что свалял дурака: вместо куклы напрокат, вместо пташки сле одуванчикой, «на утеху людям и для украшения природы созданной», поселил в окно напротив существо, способное на ответный пристальный взгляд!

Тотчас отступил, приосанившись как мог величаво, и здравый выговор закатил: как это, дескать, угораздило вас, Варвара Алексеевна, принять невиннейшие стихи («Зачем я не птица, не хищная птица!») за намек на какое-то якобы чувство? Ошиблись, голубушка!

«Отеческая приязнь одуванчика меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна...»

И виделось отказался иначе как в перкви: «это будет благоразумнее и для нас обоих безвреднее».

Казалось бы, очнулся, и переписываться больше не о чем.

Но Варенька заболела — чуть не месяц в беспамятстве, не отдавать же в больницу,

и без присмотра не оставишь, а лечение дорогое, — випмундир пришлось продать, а что Макар Алексеевич похудел — так это клевета:

«...здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только вы бы-то выздоравливали!»

И опять в конце письма: целую все ванни пальчики, — но слышно, что это не бесцеремонность, а нежность.

Запнувшись — нарочно? — на первом шагу, роман вновь устремляется вперед, к неизбежной, неизнанной развязке.

Малодушной расчетливостью героя — или героини — ее не объяснишь, не такие люди.

Не так давно высказана — и уже распространилась — мысль, что Валериан Майков-то угадал: Варенька не любит Девушкина и покидает его без сожаления, и он сам в этом виноват. Не особенно симпатичная личность: эгоист и мелкий тиран. В любви беспактен и небескорыстен: хвастает благодеяниями, напрашиваясь на благодарность и похвалу. Да и что это за любовь, если разобраться: «...при отношениях неравенства, при тех отношениях, когда один любит и благодетельствует, а другой благодарит и любит, нет и не может быть на самом деле никакой любви».

Для чего же пролито в этом романе столько чернил и слез? А чтобы современники Достоевского поняли:

«...Та логика общей социальной структуры (структуре неравенства), которая, отражаясь в сознании и чувствах отдельных людей, формирует их большую амбициозную психологию, эта же логика действует и в частных отношениях людей, извращая самое святое и бескорыстное чувство — чувство любви. И оно вместо того, чтобы роднить и связывать людей, их разделяет».

(Логика социальной структуры (структуре неравенства) извращает любовь... Это вам не старая песня о безжалостном миропорядке: та все же оставляла какому-нибудь Ромео или Вертеру некий шанс.)

В общем, получается, что, начитавшись Фурье, автор «Бедных людей» хотел запечатлеть психологические последствия эксплуатации человека человеком — в искаженных лицах Макара Алексеевича и Вареньки.

А они, глупые, знай предаются самообману извращенного чувства. Им невдомек, что до тех пор, пока социализм, хоть утопический, не победит хотя бы в отдельно взятой империи... — ну и так далее.

— Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами...

— Я вас как свет Господень любил, как дочку родную любил, я все в вас любил, маточка, родная моя! и сам для вас только жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, все оттого, что вы, маточка, здесь напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это все было именно так!

— Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего...»

Совершенно как живые. Подумать только, что связь эта — литературный прием, не менее условный, чем если бы автор заставил пресловутого Акакия Башмачкина беседовать в бреду с украденной шинелью.

Судя по первым ходам, переписка приблизительно так и замышлялась. Эпиграф это подтверждает. Он взят из новеллы князя Владимира Одоевского «Живой мертвец». Это монолог человека, которому почью приснилось, что он проснулся после смерти, приключившейся этой ночью. (Такой уж писатель — Владимир Одоевский: выдумка блестящая, многозначительная, но исполнение чаще всего посредственное; впрочем, бездушно-отрывистые интонации этого монолога запоминаются: Достоевский использовал их — да и весь сюжет — много лет спустя, в рассказе «Бобок».) Умер, стало быть, человек. Покинул тело. И смотрит на свой труп, распростертый на постели, откуда-то со стороны (и немного сверху), надо думать: вероятно, и Тютчева эта новелла поразила; нетрудно доказать, что и сам Гоголь кой-чем из нее позаимствовался, — да нет ни места, ни времени). Умер — и удивлен: ничего страшного, центр вселенной, называемый Василием Кузьмичем, продолжает существовать, только поменял местопребывание; быть невидимым — обидно на первых порах, но зато бесплотный Василий Кузьмич перемещается в пространстве мгновенно и беспрепятственно; к тому же теперь он, так сказать, неувядаем; и речью наделен по-прежнему — правда, слышной только сму — и читателям.

А при жизни был этот Василий Кузьмич средней руки чиновник, в меру подлый: взяточник, шантажист и прочее. Само собой разумеется, что ни родственники, ни сослуживцы, ни любовницы не убиты потерей, в чем раздосадованному герою пынавший его статус нездесущего соглядатая позволяет с легкостью убедиться.

Но сюжет Одоевского напелен гораздо дальше. Бессовестные поступки, совершенные Василием Кузьмичом при жизни, своекорыстные распоряжения по службе, внущенные им циничные мысли, поданные им дурные примеры — все это вдруг на его глазах невероятно быстро начинает прорастать бесчисленными ужасными последствиями: вот развращенный его наставлениями старший сын отравил младшего из-за денег; вот обобранная им племянница вовлечена в разбойничью шайку, сквачена полицией, сходит с ума в тюрьме; а главарь той шайки — бывший камердинер Василия Кузьмича, от него позаимствовавший «разным захватским штучкам»... Повсюду в городе, в стране, в целом мире — в каждом несчастии, в каждом злодействии обнаруживается прикосновенность, причастность, *вша* Василия Кузьмича; и оказывается, что сознавать это — пытка погорие адской.

«Нет сил больше! уж где я только не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! Ведь, кажется, что я такос на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был высокочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно *ничего* не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это запечатлется одно за другое!..»

В том-то и дело. Проклятиями людей, дурной посмертной славой можно еще пренебречь. Но когда уму раскрыта взаимосвязь всех человеческих судеб и поступков, и очевидно сплечение всех причин со всеми следствиями, — от невыносимого понимания собственной вины, от оценки личной доли в сумме мирового зла некуда деться.

И ненасытное чудовище — Совесть — овладевает этой бедной, мелкой душой, беспрерывно ее истязая. Теперь единственная — неисполнимая, вот ужас! — мечта бывшего Василия Кузьмича — исчезнуть совсем, потерять сознание навеки. Но это невозможно — как невозможно исправить хоть строчку, написанную при жизни, взять назад хоть слово, ненароком брошенное...

«Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно исправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее невозвратно. Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову?» — в лютой тоске недоумевает Василий Кузьмич — и просыпается по-настоящему, живой вполне, в своей квартире, в своей кровати.

Просыпается, припоминает ужасающий сон — и разражается негодящей тирадой по адресу автора «какой-то фантастической сказки», прочитанной накануне, па ночь. Эту-то тираду мы и читаем теперь в эпиграфе к роману «Бедные люди»:

«Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, уладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить...»

Спрашивается: какое касательство имеют эти слова к совершенно правдоподобной ханровой картинке в духе натуральной школы («Бедные люди», мы видели, аттестованы по этому разряду)?

А между тем в тексте романа оттиснут слепок интонации эпиграфа — именно там, где Девушкин возмущается повестью «Шинель»:

«И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил... а то что тут у него особенного, что тут у него хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться...»

Не позволительно ли предположить, что эта линия осталась от самого первого наброска? что роман обдумывался вначале как история о человеке, который, разглядев случайно свою сущность и участь в магическом кристалле, ничему не поверил, ничего не понял, только впал в испепленный, бессильный гнев? Как история бунта: Башмачкин восстает на Гоголя; как трагиародия, что ли.

Ведь и за Башмачкиным замечены некие микроскопические безумства: лишь как загляделся на фривольную картинку в оконце магазина («Почему он усмехнулся? потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье...»); а после двух бокалов шампанского «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какую-то дамою, которая, как молния, прошла мимо, и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения...».

Так вот, не воображен ли был некогда сюжет «Бедных людей» как превращенная — обращенная против героя (и автора) «Шинели» — метафора из самой этой повести:

«С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель, на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».

Это — Гоголь о Башмачкине. А вот — Девушкин о Вареньке и о себе:

«Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь!. . Никогда со мной не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу двойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утешу мне; а во-вторых, пригласил меня на чай один жицел...»

Работа моя разрастается из-за цитат, из-за выписок — необходимых, но длинных, длинных. Смысл проведенного сближения намечен, и каждый в состоянии проверить, случайное оно или нет. Загляните еще в «Петербургские сновидения в стихах и прозе» — там Достоевский от первого лица, как интимное воспоминание, рассказывает про какую-то Надю: как в ранней молодости, в отчаянной бедности он будто бы читал ей Шиллера, «Коварство и любовь», а потом она вышла «вдруг замуж за одно беднейшее существование в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу», а всего-то имущества и было у чиновника-жениха — «только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки», — вот после замужества этой Нади, оставшись один, якобы и задумался впервые Достоевский о будущем романе...

Он затянул его, по собственному признанию (в одном письме, кажется), как тяжбу со всей литературой — и прежде всего ополчился на повесть «Шинель». Он подарил умственно отсталому герою Гоголя живую девушку взамен суконной тряпки — для того, наверное, чтобы доказать: способность чувствовать голод, холод и страх еще не делает человеком переписывающее существование, самоходное копировальное устройство... Казалось, ничего не стоило таким способом разоблачить Башмачкина — или того, безымянного, с шишкой на носу — как пародию на человека, но...

Но, как уже сказано, сначала Варенька слегла в простудной горячке, и Девушкину пришлося продать винимундир; потом квартирная хозяйка потребовала уплаты долга; другие кредиторы набежали; офицер какой-то разлетелся к Вареньке с бесстыдным предложением; а там и его дядюшка с тем же пожаловал; и руку она обожгла углом; и счет пошел уже на последние двугривенные; и во всем этом воловороте сжedневных унизиительных бедствий Девушкин хоть и запил было, — а все-таки выказал (неожиданно, быть может, для сочинителя) столько храбрости, упрямства и любви, что мотив «Шинели» (хоть бы и наизнанку) как бы сам собой сбылся на горестную тему «Станционного смотрителя», причем герой исполняет попеременно две партии — ротмистра Минского (понарошку) и Самсона Выриша (всерьез).

И эпиграф из Одоевского переменил значение. Он, во-первых, дает основную тональность, напоминая об исходной точке замысла. Во-вторых же, по-видимому, отсылает читателя к другому эпиграфу, коим снабжена сама новелла «Живой мертвец»:

«...Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие, так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначащим поступком, с каждым движением души человека...»

Упрек ли это герою и героине «Бедных людей» — за то, что расстались, — или тем, кто вынудил их расстаться либо был виновником остальных бедствий, — в любом случае смысл эпиграфа движется от гоголевского: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — к толстовскому — библейскому: «Мне отмщение, и Аз воздам».

А в глубине романа пропускает — с каждой страницей все явственней — другой, потайной эпиграф и еще одним отражением освещает суть сюжета.

Самая, быть может, замечательная — в рассуждении блеска прозы — страница: Девушкин в кабинете Его Превосходительства нагибается за отлетевшей пуговицей. Кто только не восхищался обличительным гуманизмом, продуманно-мучительным темпом этой мизансцены. Никто не оценил многоплановую — что ваш Джойс! — глубину фразы: «Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза и Фальлони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку...»

Похоже, для всех и всегда этот период был и остается простым сообщением, что у белого Макара Алексеевича от волнения и физического усилия, что называется, запустило в голове.

Но вдумаемся же — какой это странный шум!

Был в квартире, где проживает Девушкин, по существу — коммунальный, но хозяйка держит прислугу — двоих, как это говорилось, людей: женщину по имени Тереза и мужчину по прозвищу Фальлони.

«Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут», — рассказывал еще в начале романа Макар Алексеевич Вареньке.

Происхождение странной для убогого чухонца клички вполне разъясняется в комментариях к академическому изданию: должно быть, просвещенные квартиранты в свое время прочли популярный переводной (с французского) роман Н. Ж. Леонара «Тереза

и Фальдони, или «Письма двух любовников, живших в Лионе». Роман выдержал в России по крайней мере три издания (комментаторы указывают два), так что какой-нибудь остроумный отставной мичман, услыхав, что служанку зовут Терезой... словом, понятно.

И вот эти два имени, чередуясь, позывкают в переписке бедняков, живущих в Петербурге, — обозначая самых обыкновенных, второстепенных персонажей: то Варенька ласт Терезе двадцать копеек, то Фальдони нагрубит Макару Алексеевичу.

С какой же стати воспоминание о них пробегает в мыслях Девушкина, пока он копошится у ног начальника? Неужто действительно — ни с того ни с сего?

Роман Леонара ему неизвестен. До знакомства с Варенькой наш герой прочитал — вы, конечно, помните — лишь три произведения словесности: «Ивикова журавли», балладу Шиллера (из нее-то, несомненно, и почерпнув знание о справедливости); еще «Картину человека», умное сочинение Галича — в самом деле очень недурной учебник человеческого — 613 параграфов: что такое гордость, что такое честность и чем страсть половая — любовь отличается от страсти одинокого быта, или чисто животного самолюбия и т. д. Маловероятно, что М. А. одолел всю книгу, вплоть до какой-нибудь семиотики телесной, — но кто же, если не Галич, укрепил его в мысли, что для настоящего человека наивысшим благом является досточтимость (А. С. Пушкин, слушатель первых лекций Галича, перевел бы: честь; ну, а у Девушкина через каждые два слова на третье: амбиция)?

Читывал он и роман — тоже переводной, тоже с французского: «Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками» Дюкре-Дюмениля — и, должно быть, оттого с таким сочувственным интересом заглядывает в кареты знатных дам, проезжающих по Гороховой улице. В авантюристическом этом романе бедный подкидыш, уличный музыкант, маленький курантщик, вызнав тайну своего происхождения и сделавшись в четвертом томе графом и богачом, на самой последней странице — «приказал высечь на фронтоне павильона, во внутренности своего Замка, сии слова:

И теперь еще раздается в ушах приятный звук наших курантов.

Не этот ли перезвон слышен Девушкину в самую нелепую и жалкую минуту карьеры? Но при чем Тереза и Фальдони, квартирная прислуга?

Но щегольство ли тут литературное: смотрите, мол, как тонко подмечено, что человек в крайне затруднительном положении думает о самых отдаленных, совсем ненужных предметах?

«Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближался тот щастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их щастия...»

Так повествует Карамзин в «Записках русского путешественника» будто бы о действительном происшествии, случившемся в городе Лионе «лег за двадцать перед сим».

В последний момент отец Терезы передумал — отказал жениху, по какой-то там важной причине. И тогда влюбленные решились на совместное самоубийство: встретились за городом, в каштановой роще, «приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга — поцеловались — и сей огненный поцелуй был знаком смерти — выстрел раздался — они упали, обнимая друг друга...».

Приготовьтесь, читатель, еще к одной пространной выписке: я, в конце концов, не виноват, что старинные авторы бывали настолько красноречивы. Следующий пассаж многое объясняет, мне кажется, в «Бедных людях» — и в других созданиях русской литературы:

«Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одни заставляют меня плакать, другие возмущают дух мой. Естыли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или естыли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелест жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства нещастного, и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны — чего более? Истинная любовь может наслаждаться и без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ее за отдаленными морями скрывается...»

И еще два периода в том же духе. Причем к словам: «чего более?» Карамзин дает в сноске примечание: «Кто хочет, рассмеется».

Этот-то отрывок — с примечанием в придачу — я и назвал бы потайным эпиграфом «Бедных людей».

Если бы Достоевский думал, что в его романе никто никого не любит — например, хоть по вышеобъявленной причине: мол, в данной негодной социальной структуре некому и некого любить, — вся эта игра имен была бы пустой, никчемной, недоброю забавой. По-моему, это не так.

Возможно — более чем возможно, — что чувство, будто мир испорчен, изгажен чьей-то невообразимо огромной, беспощадно насмешливой волей, — не оставляло его.

Но, перечитывая первый его роман, трудно отказаться от мысли, что это — сочинение трех Д: Достоевского, Девушкина, Доброселовой, что в нем происходят среди прочих и такие события, которых Достоевский заранее не предвидел.

Можно ли было, скажем, предусмотреть — ведь другие романы Достоевского не были еще написаны, — что с конца июля, как раз когда раскроется обман и мнимое благополучие рухнет, — что с этого самого времени у героя и у героини переменятся голоса и чуть ли не роли, да как: Макар Алексеевич, вместо того чтобы поникнуть от вины и стыда, закуряжится и закризизничает, — а в письмах Вареньки вместо отчаяния и обиды зазвенит такая жаркая тревога и жалость к старому безумцу — никакого сравнения с прежней грустной дружбой — прекрасный собою итальянец Фальлони позавидовал бы...

Так что не вовсе случайно развязка романа — возвращаемся к ней напоследок — напоминает решение лионских любовников.

Но точно ли только бедность, одна только проклятая бедность всему причиной? То есть должно ли так понимать, что и Девушкин, и Варенька, в уверенности, что вдвоем не спастись, оба одновременно отталкиваются от слишком узкого для обоих плотика, захлестываемого судьбой, — чтобы не лишить другого ничтожной, ненужной, но единственной возможности выплыть?

Бедность и впрямь ужасна, бедность сжигает, как кислотой, какую угодно любовь, — так прочитал, например, «Бедных людей» молодой чиновник Салтыков и написал вслед повесть «Запутанное дело», в которой петербургский бедняк видит во сне, как женился на своей Наденьке, и вот уже ребенок у них умирает голодный, и она уходит из дома — прощать себя богатому старику, чтобы только раздобыть денег — на гробик ребенку и ужин отцу, — впрочем, это уже Некрасов, тоже год 1847-й.

Но похоже, что и еще какой-то призрак держит Макара Алексеевича в оцепенении, заставляет разжать руки.

В девятнадцатом веке это было очевидно — оттого тогдашние критики и принимали молча развязку романа как наилучшую из возможных.

Они-то догадывались, отчего, как унизительную тайну, прячет Макар Алексеевич от соседей по дому свою с Варенькой связь.

И почему никак не отвечает на Варенькины слова, что никто, кроме г-на Быкова, не возвратит ей честное имя.

По-видимому, до наступления эпохи промискуитета (виноват! опечатка!) хотел сказать: эры прогресса! жениться, как Мармеладов, на вдове с тремя детьми, хоть бы и нищей,казалось несравненно легче, чем взять за себя, как Покровский-старший, любовницу — жертву, так или иначе, наложницу — г-на Быкова.

И дело даже не в том, что Макар Алексеевич у нас — какой-никакой, а все-таки дворянин (в том же десятом классе, что и Пушкин, между прочим, был до камер-юнкерского звания: еще один бы только чин — и стал бы таким же потомственным, совершенно настоящим, никого не хуже) и не забывает при случае ввернуть что-нибудь такое «в своем смысле, в благородном, в дворянском-то отношении»...

Дворянство, быть может, и вздор, а вот Шиллер не вздор, «Коварство и любовь» не вздор:

«Как я посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который, по крайней мере, получает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложнице, которая желает отмыть пятно на своей чести в моем позоре?»

Как это вы говорите в последней монографии — амбициозная психология? испорчен логикой социальной структуры? — вот-вот. Почти не имеет понятия ни о Шиллере, ни о Бомарше, — а ведет себя так, словно наслышан откуда-то, что борьба за права человека начиндалась в литературе с борьбы за право первой ночи.

(Кстати: нечто очень похожее на «Коварство и любовь» мелькнет на страницах «Идиота», — но ведь Мышкин Девушкину не читал, и другого поколения...)

Призрак чести.

«Что, батюшка, честь, когда ничего есть; деньги, батюшка, деньги главное», — говорит литератор Ратаяев одному из двойников Девушкина — чиновнику Горшкову — и треплет его по плечу. Это тот самый Горшков, которому совсем недавно, не устояв перед униженной мольбой, Макар Алексеевич отдал свой последний гривенник. А теперь он, видите ли, оправдан в чем-то там по суду и вознагражден знатной суммой. И слова Ратаяева ему не нравятся.

...То есть не то чтобы прямое неудовольствие высказал, — возбужденно рассказывает Девушкин Вареньке, — а только посмотрел как-то странно да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка, — добавляет он. — Впрочем, различные бывают характеры...»

Почти все мы читаем «Бедных людей» не более чем лважды за жизнь, причем второй раз — как правило, поздно. В промежутке сохраним уверенность, что смысл нам внятен: совпадает с названием. Быть может, так и есть. Но в названии недостает какого-то знака — то ли восклицательного, то ли многоточия: ведь это вздох.

Постскриптум. Полузабыт или недоцитан, а все же в глубине русского литературного сознания этот роман светится постоянно.

Вот стихотворение Пастернака «Разлука»:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома...

Пропускаю несколько строф, тем более что все помнят их наизусть.

...И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сложет...

Последние строчки:

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкроики образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее...

Что это, по-вашему? Лара уехала от Юрия Живаго? Ивицкую арестовали? Да, разумеется, и то, и другое. Но и вот еще что:

«Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пляочки, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмо мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: «Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу» — и только. Видно вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кроватка стоит... Голубчик вы мой!!!»

Так у Достоевского: три восклицательных знака.

...И плачет втихомолку.